

М. Горький

Челкаш

Потемневшее от пыли голубое южное небо — мутно; жаркое солнце смотрит в зеленоватое море, точно сквозь тонкую серую вуаль. Оно почти не отражается в воде, рассекаемой ударами вёсел, паровых винтов, острыми киями турецких фелюг и других судов, бороздящих по всем направлениям тесную гавань. Закованные в гранит волны моря подавлены громадными тяжестями, скользящими по их хребтам, бьются о борта судов, о берега, бьются и ропщут, вспенённые, загрязнённые разным хламом.

Звон якорных цепей, грохот сцеплений вагонов, подвозящих груз, металлический вопль железных листов, откуда-то падающих на камень мостовой, глухой стук дерева, дребезжание извозчичьих телег, свистки паровых судов, то пронзительно резкие, то глухо ревущие, крики грузчиков, матросов и таможенных солдат — все эти звуки сливаются в оглушительную музыку трудового дня и, мятежно колыхаясь, стоят низко в небе над гаванью, — к ним вздымаются с земли всё новые и новые волны звуков — то глухие, рокошующие, они сурово сотрясают всё кругом, то резкие, гремящие, — рвут пыльный, знойный воздух.

Гранит, железо, дерево, мостовая гавани, суда и люди — всё дышит мощными звуками страстного гимна Меркурию. Но голоса людей, еле слышные в нём, слабы и смешны. И сами люди, первоначально родившие этот шум, смешны и жалки: их фигурки, пыльные, оборванные, юркие, согнутые под тяжестью товаров, лежащих на их спинах, суетливо бегают то туда, то сюда в тучах пыли, в море зноя и звуков, они ничтожны по сравнению с окружающими их железными колоссами, горами товаров, гремящими вагонами и всем, что они создали. Созданное ими поработило и обезличило их.

Стоя под парами, тяжёлые гиганты-паровые суда свистят, шипят, глубоко вздыхают, и в каждом звуке, рождённом ими, чудится насмешливая нота презрения к серым, пыльным фигурам людей, ползавших по их палубам, наполняя глубокие трюмы продуктами своего рабского труда. До слёз смешны длинные вереницы грузчиков, несущих на плечах своих тысячи пудов хлеба в железные животы судов для того, чтобы заработать несколько фунтов того же хлеба для своего желудка. Рваные, потные, отупевшие от усталости, шума и зноя люди и могучие, блестящие на солнце дородством машины, созданные этими людьми, — машины, которые в конце концов приводились в движение всё-таки не паром, а мускулами и кровью своих творцов, — в этом сопоставлении была целая поэма жестокой иронии.

Шум — подавлял, пыль, раздражая ноздри, — слепила глаза, зной — пёк тело и изнурял его, и всё кругом казалось напряжённым, теряющим терпение, готовым разразиться какой-то грандиозной катастрофой, взрывом, за которым в освежённом им воздухе будет дышаться свободно и легко, на земле воцарится тишина, а этот пыльный шум, оглушительный, раздражающий, доводящий до тоскливого бешенства, исчезнет, и тогда в городе, на море, в небе станет тихо, ясно, славно...

Раздалось двенадцать мерных и звонких ударов в колокол. Когда последний медный звук замер, дикая музыка труда уже звучала тише. Через минуту ещё она превратилась в глухой недовольный ропот. Теперь голоса людей и плеск моря стали слышней. Это — наступило время обеда.

I

Когда грузчики, бросив работать, рассыпались по гавани шумными группами, покупая себе у торговцев разную снедь и усаживаясь обедать тут же, на мостовой, в тенистых уголках, — появился Гришка Челкаш, старый травленный волк, хорошо знакомый гаванскому люду, заядлый пьяница и ловкий, смелый вор. Он был бос, в старых,

вытертых плисовых штанах, без шапки, в грязной ситцевой рубаше с разорванным воротом, открывавшим его сухие и угловатые кости, обтянутые коричневой кожей. По всклокоченным чёрным с проседью волосам и смятому, острому, хищному лицу было видно, что он только что проснулся. В одном буром усе у него торчала соломина, другая соломина запуталась в щетине левой бритой щеки, а за ухо он заткнул себе маленькую, только что сорванную ветку липы. Длинный, костлявый, немного сутулый, он медленно шагал по камням и, поводя своим горбатым, хищным носом, кидал вокруг себя острые взгляды, поблескивая холодными серыми глазами и высматривая кого-то среди грузчиков. Его бурые усы, густые и длинные, то и дело вздрагивали, как у кота, а заложенные за спину руки потирали одна другую, нервно перекручиваясь длинными, кривыми и цепкими пальцами. Даже и здесь, среди сотен таких же, как он, резких босяцких фигур, он сразу обращал на себя внимание своим сходством с степным ястребом, своей хищной худобой и этой прицеливающейся походкой, плавной и покойной с виду, но внутренне возбуждённой и зоркой, как лёт той хищной птицы, которую он напоминал.

Когда он поравнялся с одной из групп босяков-грузчиков, расположившихся в тени под грудой корзин с углём, ему навстречу встал коренастый малый с глупым, в багровых пятнах, лицом и поцарапанной шеей, должно быть, недавно избитый. Он встал и пошёл рядом с Челкашом, вполголоса говоря:

— Флотские двух мест мануфактуры хватились... Ищут.

— Ну? – спросил Челкаш, спокойно смерив его глазами.

— Чего – ну? Ищут, мол. Больше ничего.

— Меня, что ли, спрашивали, чтоб помог поискать?

И Челкаш с улыбкой посмотрел туда, где возвышался пакгауз Добровольного флота.

— Пошёл к чёрту!

Товарищ повернул назад.

— Эй, погоди! Кто это тебя изукрасил? Ишь как испортили вывеску-то... Мишку не видал здесь?

— Давно не видал! – крикнул тот, уходя к своим товарищам.

Челкаш шагал дальше, встречаемый всеми, как человек хорошо знакомый. Но он, всегда весёлый и едкий, был сегодня, очевидно, не в духе и отвечал на расспросы отрывисто и резко.

Откуда-то из-за бунта товара вывернулся таможенный сторож, тёмно-зелёный, пыльный и воинственно-прямой. Он загородил дорогу Челкашу, встав перед ним в вызывающей позе, схватившись левой рукой за ручку кортика, а правой пытаясь взять Челкаша за ворот.

— Стой! Куда идёшь?

Челкаш отступил шаг назад, поднял глаза на сторожа и сухо улыбнулся.

Красное, добродушно-хитрое лицо служивого пыталось изобразить грозную мину, для чего надулось, стало круглым, багровым, двигало бровями, тарасило глаза и было очень смешно.

— Сказано тебе — в гавань не смей ходить, рёбра изломаю! А ты опять? – грозно кричал сторож.

— Здравствуй, Семёныч! мы с тобой давно не видались, – спокойно поздоровался Челкаш и протянул ему руку.

— Хоть бы век тебя не видеть! Иди, иди!..

Но Семёныч всё-таки пожал протянутую руку.

— Вот что скажи, – продолжал Челкаш, не выпуская из своих цепких пальцев руки Семёныча и приятельски-фамильярно потряхивая её, – ты Мишку не видал?

— Какого ещё Мишку? Никакого Мишки не знаю! Пошёл, брат, вон! а то пакгаузный увидит, он те...

— Рыжего, с которым я прошлый раз работал на «Костроме», – стоял на своём Челкаш.

— С которым воруюешь вместе, вот как скажи! В больницу его свезли, Мишку твоего, ногу отдавило чугунной штыковой. Поди, брат, пока честью просят, поди, а то в шею провожу!..

— Ага, ишь ты! а ты говоришь — не знаю Мишки... Знаешь вот. Ты чего же такой сердитый, Семёныч?..

— Вот что, ты мне зубы не заговаривай, а иди!..

Сторож начал сердиться и, оглядываясь по сторонам, пытался вырвать свою руку из крепкой руки Челкаша. Челкаш спокойно посматривал на него из-под своих густых бровей и, не отпуская его руки, продолжал разговаривать:

— Ты не торопи меня. Я вот наговорюсь с тобой вдосталь и уйду. Ну, сказывай, как живёшь?.. жена, детки — здоровы? — И, сверкая глазами, он, оскалив зубы насмешливой улыбкой, добавил: — В гости к тебе собираюсь, да всё времени нет — пью всё вот...

— Ну, ну, — ты это брось! Ты, — не шути, дьявол костлявый! Я, брат, в самом деле... Али ты уж по домам, по улицам грабить собираешься?

— Зачем? И здесь на наш с тобой век добра хватит. Ей-богу, хватит, Семёныч! Ты, слышь, опять два места мануфактуры слямзил?.. Смотри, Семёныч, осторожней! не попадись как-нибудь!..

Возмущённый Семёныч затрясся, брызгая слюной и пытаясь что-то сказать. Челкаш отпустил его руку и спокойно зашагал длинными ногами назад к воротам гавани. Сторож, неистово ругаясь, двинулся за ним.

Челкаш повеселел; он тихо посвистывал сквозь зубы и, засунув руки в карманы штанов, шёл медленно, отпуская направо и налево колкие смешки и шуточки. Ему платили тем же.

— Ишь ты, Гришка, начальство-то как тебя оберегает! — крикнул кто-то из толпы грузчиков, уже пообедавших и валявшихся на земле, отдыхая.

— Я — босый, так вот Семёныч следит, как бы мне ногу не напороть, — ответил Челкаш.

Подошли к воротам. Два солдата ощупали Челкаша и легонько вытолкнули его на улицу.

Челкаш перешёл через дорогу и сел на тумбочку против дверей кабака. Из ворот гавани с грохотом выезжала вереница нагруженных телег. Навстречу им неслись порожние телеги с извозчиками, подпрыгивавшими на них. Гавань изрыгала воющий гром и едкую пыль...

В этой бешеной сутолоке Челкаш чувствовал себя прекрасно. Впереди ему улыбался солидный заработок, требуя немного труда и много ловкости. Он был уверен, что ловкости хватит у него, и, щура глаза, мечтал о том, как загуляет завтра поутру, когда в его кармане явятся кредитные бумажки...

Вспомнился товарищ, Мишка, — он очень пригодился бы сегодня ночью, если бы не сломал себе ногу. Челкаш про себя обругался, думая, что одному, без Мишки, пожалуй, и не справиться с делом. Какова-то будет ночь?.. Он посмотрел на небо и вдоль по улице.

Шагах в шести от него, у тротуара, на мостовой, прислонясь спиной к тумбочке, сидел молодой парень в синей пестрядинной рубахе, в таких же штанах, в лаптях и в оборванном рыжем картузе. Около него лежала маленькая котомка и коса без черенка, обёрнутая в жгут из соломы, аккуратно перекрученный верёвочкой. Парень был широкоплеч, коренаст, русский, с загорелым и обветренным лицом и с большими голубыми глазами, смотревшими на Челкаша доверчиво и добродушно.

Челкаш оскалил зубы, высунул язык и, сделав страшную рожу, уставился на него вытаращенными глазами.

Парень, сначала недоумевая, смигнул, но потом вдруг расхохотался, крикнул сквозь смех: «Ах, чудак!» — и, почти не вставая с земли, неуклюже перевалился от своей тумбочки к тумбочке Челкаша, волоча свою котомку по пыли и постукивая пяткой косы о камни.

— Что, брат, погулял, видно, здорово!.. – обратился он к Челкашу, дёрнув его штанину.

— Было дело, сосунок, было этакое дело! – улыбаясь, сознался Челкаш. Ему сразу понравился этот здоровый добродушный парень с ребячьими светлыми глазами.

— С косовицы, что ли?

— Как же!.. Косили версту — выкосили грош. Плохи дела-то! Нар-роду — уйма! Голодающий этот самый приплёлся, — цену сбили, хоть не берись! Шесть гривен в Кубани платили. Дела!.. А раньше-то, говорят, три целковых цена, четыре, пять!..

— Раньше!.. Раньше-то за одно погляденье на русского человека там трёшну платили. Я вот годов десять тому назад этим самым и промышлял. Придёшь в станицу — русский, мол, я! Сейчас тебя поглядят, пошупают, подивуются и — получи три рубля! Да напоят, накормят. И живи сколько хочешь!

Парень, слушая Челкаша, сначала широко открыл рот, выражая на круглой физиономии недоумевающее восхищение, но потом, поняв, что оборванец врёт, шлёпнул губами и захохотал. Челкаш сохранял серьёзную мину, скрывая улыбку в своих усах.

— Чудак, говоришь будто правду, а я слушаю да верю... Нет, ей-богу, раньше там...

— Ну, а я про что? Ведь и я говорю, что, мол, там раньше...

— Поди ты!.. – махнул рукой парень. – Сапожник, что ли? Али портной?.. Ты-то?

— Я-то? – переспросил Челкаш и, подумав, сказал: — Рыбак я...

— Рыба-ак! Ишь ты! Что же, ловишь рыбу?..

— Зачем рыбу? Здешние рыбаки не одну рыбу ловят. Больше утопленников, старые якорья, потонувшие суда — всё! Удочки такие есть для этого...

— Ври, ври!.. Из тех, может, рыбаков, которые про себя поют:

Мы закидываем сети
По сухим берегам
Да по амбарам, по клетям!..

— А ты видал таких? – спросил Челкаш, с усмешкой поглядывая на него.

— Нет, видать где же! Слышал...

— Нравятся?

— Они-то? Как же!.. Ничего ребята, вольные, свободные...

— А что тебе — свобода?.. Ты разве любишь свободу?

— Да ведь как же? Сам себе хозяин, пошёл — куда хошь, делай — что хошь... Ещё бы! Коли сумеешь себя в порядке держать, да на шее у тебя камней нет, — первое дело! Гуляй знай, как хошь, бога только помни...

Челкаш презрительно сплюнул и отвернулся от парня.

— Сейчас вот моё дело... – говорил тот. – Отец у меня — умер, хозяйство — малое, мать-старуха, земля высосана, — что я должен делать? Жить — надо. А как? Неизвестно. Пойду я в зятя в хороший дом. Ладно. Кабы выделили дочь-то!.. Нет ведь — тещь-дьявол не выделит. Ну, и буду я ломать на него... долго... Года! Вишь, какие дела-то! А кабы мне рублей ста полтора заробить, сейчас бы я на ноги встал и — Антипу-то — накося, выкуси! Хошь выделить Марфу? Нет? Не надо! Слава богу, девок в деревне не одна она. И был бы я, значит, совсем свободен, сам по себе... Н-да! – Парень вздохнул. — А теперь ничего не поделаешь иначе, как в зятя идти. Думал было я: вот, мол, на Кубань-то пойду, рублёв два ста тяпну, — шабаш! барин!.. Ан не выгорело. Ну и пойдёшь в батраки... Своим хозяйством не исправлюсь я, ни в каком разе! Эхе-хе!..

Парню сильно не хотелось идти в зятя. У него даже лицо печально потускнело. Он тяжело заёрзал на земле.

Челкаш спросил:

— Теперь куда ж ты?

— Да ведь — куда? известно, домой.

— Ну, брат, мне это неизвестно, может, ты в Турцию собрался.

— В Ту-урцию!.. – протянул парень. – Кто ж это туда ходит из православных? Сказал тоже!..

— Экой ты дурак! – вздохнул Челкаш и снова отворотился от собеседника. В нём этот здоровый деревенский парень что-то будил...

Смутно, медленно назревавшее, досадливое чувство копошилось где-то глубоко и мешало ему сосредоточиться и обдумать то, что нужно было сделать в эту ночь.

Обруганный парень бормотал что-то вполголоса, изредка бросая на босяка косые взгляды. У него смешно надулись щёки, оттопырились губы и суженные глаза как-то чересчур часто и смешно помаргивали. Он, очевидно, не ожидал, что его разговор с этим усатым оборванцем кончится так быстро и обидно.

Оборванец не обращал больше на него внимания. Он задумчиво посвистывал, сидя на тумбочке и отбивая по ней такт голой грязной пяткой.

Парню хотелось поквитаться с ним.

— Эй ты, рыбак! Часто это ты запиваешь-то? – начал было он, но в этот же момент рыбак быстро обернул к нему лицо, спросив его:

— Слушай, сосун! Хочешь сегодня ночью работать со мной? Говори скорей!

— Чего работать? – недоверчиво спросил парень.

— Ну, чего!.. Чего заставлю... Рыбу ловить поедем. Грести будешь...

— Так... Что же? Ничего. Работать можно. Только вот... не влететь бы во что с тобой. Больно ты закомурист... тёмен ты...

Челкаш почувствовал нечто вроде ожога в груди и с холодной злобой вполголоса проговорил:

— А ты не болтай, чего не смыслишь. Я те вот долбану по башке, тогда у тебя в ней просветлеет...

Он соскочил с тумбочки, дёрнул левой рукой свой ус, а правую сжал в твёрдый жилистый кулак и заблестел глазами.

Парень испугался. Он быстро оглянулся вокруг и, робко моргая, тоже вскочил с земли. Меряя друг друга глазами, они молчали.

— Ну? – сурово спросил Челкаш. Он кипел и вздрагивал от оскорбления, нанесённого ему этим молоденьким телёнком, которого он во время разговора с ним презирал, а теперь сразу возненавидел за то, что у него такие чистые голубые глаза, здоровое загорелое лицо, короткие крепкие руки, за то, что он имеет где-то там деревню, дом в ней, за то, что его приглашает в зятя зажиточный мужик, — за всю его жизнь прошлую и будущую, а больше всего за то, что он, этот ребёнок по сравнению с ним, Челкашом, смеет любить свободу, которой не знает цены и которая ему не нужна. Всегда неприятно видеть, что человек, которого ты считаешь хуже и ниже себя, любит или ненавидит то же, что и ты, и, таким образом, становится похож на тебя.

Парень смотрел на Челкаша и чувствовал в нём хозяина.

— Ведь я... не прочь... – заговорил он. – Работы ведь и ишу. Мне всё равно, у кого работать, у тебя или у другого. Я только к тому сказал, что не похож ты на рабочего человека, — больно уж тово... драный. Ну, я ведь знаю, что это со всяким может быть. Господи, рази я не видел пьяниц! Эх, сколько!.. да ещё и не таких, как ты.

— Ну, ладно, ладно! Согласен? – уже мягче переспросил Челкаш.

— Я-то? Айда!.. с моим удовольствием! Говори цену.

— Цена у меня по работе. Какая работа будет. Какой улов, значит... Пятитку можешь получить. Понял?

Но теперь дело касалось денег, а тут крестьянин хотел быть точным и требовал той же точности от нанимателя. У парня вновь вспыхнуло недоверие и подозрительность.

— Это мне не рука, брат!

Челкаш вошёл в роль:

— Не толкуй, погоди! Идём в трактор!

И они пошли по улице рядом друг с другом, Челкаш — с важной миной хозяина, покручивая усы, парень — с выражением полной готовности подчиниться, но всё-таки полный недоверия и боязни.

— А как тебя звать? – спросил Челкаш.

— Гаврилом! – ответил парень.

Когда они пришли в грязный и закоптелый трактир, Челкаш, подойдя к буфету, фамильярным тоном завсегда заказал бутылку водки, шей, поджарку из мяса, чаю и, перечислив требуемое, коротко бросил буфетчику: «В долг всё!» — на что буфетчик молча кивнул головой. Тут Гаврила сразу преисполнился уважения к своему хозяину, который, несмотря на свой вид жулика, пользуется такой известностью и доверием.

— Ну, вот мы теперь закусим и поговорим толком. Пока ты посиди, а я схожу кое-куда.

Он ушёл. Гаврила осмотрелся кругом. Трактир помещался в подвале; в нём было сыро, темно, и весь он был полон удушливым запахом перегорелой водки, табачного дыма, смолы и ещё чего-то острого. Против Гаврилы, за другим столом, сидел пьяный человек в матросском костюме, с рыжей бородой, весь в угольной пыли и смоле. Он урчал, поминутно икая, песню, всю из каких-то перевранных и изломанных слов, то страшно шипящих, то гортанных. Он был, очевидно, не русский.

Сзади его поместились две молдаванки; оборванные, черноволосые, загорелые, они тоже скрипели песню пьяными голосами.

Потом из тьмы выступали ещё разные фигуры, все странно растрёпанные, все полупьяные, крикливые, беспокойные...

Гавриле стало жутко. Ему захотелось, чтобы хозяин воротился скорее. Шум в трактире сливался в одну ноту, и казалось, что это рычит какое-то огромное животное, оно, обладая сотней разнообразных голосов, раздражённо, слепо рвётся вон из этой каменной ямы и не находит выхода на волю... Гаврила чувствовал, как в его тело всасывается что-то опьяняющее и тягостное, от чего у него кружилась голова и туманились глаза, любопытно и со страхом бегавшие по трактиру...

Пришёл Челкаш, и они стали есть и пить, разговаривая. С третьей рюмки Гаврила опьянел. Ему стало весело и хотелось сказать что-нибудь приятное своему хозяину, который — славный человек! — так вкусно угостил его. Но слова, целыми волнами подливавшиеся ему к горлу, почему-то не сходили с языка, вдруг отяжелевшего.

Челкаш смотрел на него и, насмешливо улыбаясь, говорил:

— Наклюкался!.. Э-эх, тюря! с пяти рюмок!.. как работать-то будешь?..

— Друг!.. – лепетал Гаврила. – Не бойсь! я тебе уважу!.. Дай поцелую тебя!.. а?..

— Ну, ну!.. На, ещё клюкни!

Гаврила пил и дошёл наконец до того, что у него в глазах всё стало колебаться ровными, волнообразными движениями. Это было неприятно, и от этого тошнило. Лицо у него сделалось глупо восторженное. Пытаясь сказать что-нибудь, он смешно шлёпал губами и мычал. Челкаш, пристально поглядывая на него, точно вспоминал что-то, крутил свои усы и всё улыбался хмуро.

А трактир ревел пьяным шумом. Рыжий матрос спал, облокотясь на стол.

— Ну-ка, идём! – сказал Челкаш, вставая. Гаврила попробовал подняться, но не смог и, крепко обругавшись, засмеялся бессмысленным смехом пьяного.

— Развезло! – молвил Челкаш, снова усаживаясь против него на стул.

Гаврила всё хохотал, тупыми глазами поглядывая на хозяина. И тот смотрел на него пристально, зорко и задумчиво. Он видел перед собою человека, жизнь которого попала в его волчьи лапы. Он, Челкаш, чувствовал себя в силе повернуть её и так и этак. Он мог разломать её, как игральную карту, и мог помочь ей установиться в прочные крестьянские рамки. Чувствуя себя господином другого, он думал о том, что этот парень никогда не изопьёт такой чаши, какую судьба дала испить ему, Челкашу... И он завидовал и сожалел об этой молодой жизни, подсмеивался над ней и даже огорчался за неё,

представляя, что она может ещё раз попасть в такие руки, как его... И все чувства в конце концов слились у Челкаша в одно — нечто отеческое и хозяйственное. Малого было жалко, и малый был нужен. Тогда Челкаш взял Гаврилу под мышки и, легонько толкая его сзади коленом, вывел на двор трактира, где сложил на землю в тень от поленицы дров, а сам сел около него и закурил трубку. Гаврила немного повозился, помычал и заснул.

II

— Ну, готов? – вполголоса спросил Челкаш у Гаврилы, возившегося с вёслами.

— Сейчас! Уключина вот шатается, — можно разок вдарить веслом?

— Ни-ни! Никакого шума! Надави её руками крепче, она и войдёт себе на место.

Оба они тихо возились с лодкой, привязанной к корме одной из целой флотилии парусных барок, нагруженных дубовой клёпкой, и больших турецких фелюг, занятых пальмой, сандалом и толстыми кряжами кипариса.

Ночь была тёмная, по небу двигались толстые пласты лохматых туч, море было покойно, черно и густо, как масло. Оно дышало влажным солёным ароматом и ласково звучало, плескаясь от борта судов о берег, чуть-чуть покачивая лодку Челкаша. На далёкое пространство от берега с моря подымались тёмные остовы судов, вонзая в небо острые мачты с разноцветными фонарями на вершинах. Море отражало огни фонарей и было усеяно массой жёлтых пятен. Они красиво трепетали на его бархате, мягком, матово-чёрном. Море спало здоровым, крепким сном работника, который сильно устал за день.

— Едем! – сказал Гаврила, спуская весла в воду.

— Есть! – Челкаш сильным ударом руля вытолкнул лодку в полосу воды между барками, она быстро поплыла по скользкой воде, и вода под ударами вёсел загоралась голубоватым фосфорическим сиянием, — длинная лента его, мягко сверкая, вилась за кормой.

— Ну, что голова? болит? – ласково спросил Челкаш.

— Страсть!.. как чугуны гудит... Намочу её водой сейчас.

— Зачем? Ты на-ко вот, нутро помочи, может, скорее очухаешься, — и он протянул Гавриле бутылку.

— Ой ли? Господи благослови!..

Послышалось тихое бульканье.

— Эй ты! рад?.. Будет! – остановил его Челкаш. Лодка помчалась снова, бесшумно и легко вертясь среди судов... Вдруг она вырвалась из их толпы, и море — бесконечное, могучее — развернулось перед ними, уходя в синюю даль, где из вод его вздымались в небо горы облаков — лилово-сизых, с жёлтыми пуховыми каймами по краям, зеленоватых, цвета морской воды, и тех скучных, свинцовых туч, что бросают от себя такие тоскливые, тяжёлые тени. Облака ползли медленно, то сливаясь, то обгоняя друг друга, мешали свои цвета и формы, поглощая сами себя и вновь возникая в новых очертаниях, величественные и угрюмые... Что-то роковое было в этом медленном движении бездушных масс. Казалось, что там, на краю моря, их бесконечно много и они всегда будут так равнодушно вползать на небо, задавшись злой целью не позволять ему никогда больше блеснуть над сонным морем миллионами своих золотых очей — разноцветных звёзд, живых и мечтательно сияющих, возбуждая высокие желания в людях, которым дорог их чистый блеск.

— Хорошо море? – спросил Челкаш.

— Ничего! Только боязно в нём, – ответил Гаврила, ровно и сильно ударяя вёслами по воде. Вода чуть слышно звенела и плескалась под ударами длинных вёсел и всё блестела тёплым голубым светом фосфора.

— Боязно! Экая дура!.. – насмешливо проворчал Челкаш.

Он, вор, любил море. Его кипучая нервная натура, жадная на впечатления, никогда не пресыщалась созерцанием этой тёмной широты, бескрайней, свободной и мощной.

И ему было обидно слышать такой ответ на вопрос о красоте того, что он любил. Сидя на корме, он резал рулём воду и смотрел вперёд спокойно, полный желания ехать долго и далеко по этой бархатной глади.

На море в нём всегда поднималось широкое, тёплое чувство, — охватывая всю его душу, оно немного очищало её от житейской скверны. Он ценил это и любил видеть себя лучшим тут, среди воды и воздуха, где думы о жизни и сама жизнь всегда теряют — первые — остроту, вторая — цену. По ночам над морем плавно носится мягкий шум его сонного дыхания, этот необъятный звук вливает в душу человека спокойствие и, ласково укрощая её злые порывы, родит в ней могучие мечты...

— А снасть-то где? – вдруг спросил Гаврила, беспокойно оглядывая лодку.

Челкаш вздрогнул.

— Снасть? Она у меня на корме.

Но ему стало обидно лгать пред этим мальчишкой, и ему было жаль тех дум и чувств, которые уничтожил этот парень своим вопросом. Он рассердился. Знакомое ему острое жжение в груди и у горла передёрнуло его, он внушительно и жёстко сказал Гавриле:

— Ты вот что — сидишь, ну и сиди! А не в своё дело носа не суй. Наняли тебя гребти, и гребти. А коли будешь языком трепать, будет плохо. Понял?..

На минуту лодка дрогнула и остановилась. Вёсла остались в воде, вспенивая её, и Гаврила беспокойно завозился на скамье.

— Гребти!

Резкое ругательство потрясло воздух. Гаврила взмахнул вёслами. Лодка точно испугалась и пошла быстрыми, нервными толчками, с шумом разрезая воду.

— Ровней!..

Челкаш привстал с кормы, не выпуская весла из рук и воткнув свои холодные глаза в бледное лицо Гаврилы. Изогнувшийся, наклоняясь вперёд, он походил на кошку, готовую прыгнуть. Слышно было злое скрипение зубов и робкое пощёлкивание какими-то костяшками.

— Кто кричит? – раздался с моря суровый окрик.

— Ну, дьявол, гребти же!.. тише!.. убью, собаку!.. Ну же, гребти!.. Раз, два! Пикни только!.. Р-разорву!.. – шипел Челкаш.

— Богородице... дево... – шептал Гаврила, дрожа и изнемогая от страха и усилий.

Лодка плавно повернулась и пошла назад к гавани, где огни фонарей столпились в разноцветную группу и видны были стволы мачт.

— Эй! кто орёт? – донеслось снова.

Теперь голос был дальше, чем в первый раз. Челкаш успокоился.

— Сам ты и орёшь! – сказал он по направлению криков и затем обратился к Гавриле, всё ещё шептавшему молитву:

— Ну, брат, счастье твоё! Кабы эти дьяволы погнались за нами — конец тебе. Чуешь? Я бы тебя сразу — к рыбам!..

Теперь, когда Челкаш говорил спокойно и даже добродушно, Гаврила, всё ещё дрожащий от страха, взмолился:

— Слушай, отпусти ты меня! Христом прошу, отпусти! Высади куда-нибудь! Ай-ай-ай!.. Про-опал я совсем!.. Ну, вспомни бога, отпусти! Что я тебе? Не могу я этого!.. Не бывал я в таких делах... Первый раз... Господи! Пропаду ведь я! Как ты это, брат, обошёл меня? а? Грешно тебе!.. Душу ведь губишь!.. Ну, дела-а...

— Какие дела? – сурово спросил Челкаш. – А? Ну, какие дела?

Его забавлял страх парня, и он наслаждался и страхом Гаврилы, и тем, что вот какой он, Челкаш, грозный человек.

— Тёмные дела, брат... Пусти для бога!.. Что я тебе?.. а?.. Милый...

— Ну, молчи! Не нужен был бы, так я тебя не брал бы. Понял? — ну и молчи!

— Господи! – вздохнул Гаврила.

— Ну-ну!.. куксись у меня! — оборвал его Челкаш.

Но Гаврила теперь уже не мог удержаться и, тихо всхлипывая, плакал, сморкался, ёрзал по лавке, но греб сильно, отчаянно. Лодка мчалась стрелой. Снова на дороге встали тёмные корпуса судов, и лодка потерялась в них, волчком вертясь в узких полосах воды между бортами.

— Эй ты! слушай! Буде спросит кто о чём — молчи, коли жив быть хочешь! Понял?

— Эхма!.. – безнадежно вздохнул Гаврила в ответ на суровое приказание и горько добавил: — Судьбина моя пропащая!..

— Не ной! – внушительно шепнул Челкаш. Гаврила от этого шёпота потерял способность соображать что-либо и помертвел, охваченный холодным предчувствием беды. Он машинально опускал вёсла в воду, откидывался назад, вынимал их, бросал снова и всё время упорно смотрел на свои лапти.

Сонный шум волн гудел угрюмо и был страшен. Вот гавань... За её гранитной стеной слышались людские голоса, плеск воды, песня и тонкие свистки.

— Стой! – шепнул Челкаш. – Бросай вёсла! Упирайся руками в стену! Тише, чёрт!..

Гаврила, цепляясь руками за скользкий камень, повёл лодку вдоль стены. Лодка двигалась без шороха, скользя бортом по наростшей на камне слизи.

— Стой!.. Дай вёсла! Дай сюда! А паспорт у тебя где? В котомке? Дай котомку! Ну, давай скорей! Это, мил друг, для того, чтобы ты не удрал... Теперь не удерёшь. Без вёсел-то ты бы кое-как мог удрать, а без паспорта побоишься. Жди! Да смотри, коли ты пикнешь — на дне моря найду!..

И вдруг, уцепившись за что-то руками, Челкаш поднялся на воздух и исчез на стене.

Гаврила вздрогнул... Это вышло так быстро. Он почувствовал, как с него сваливается, сползает та проклятая тяжесть и страх, который он чувствовал при этом усатом, худом воре... Бежать теперь!.. И он, свободно вздохнув, оглянулся кругом. Слева возвышался чёрный корпус без мачт, — какой-то огромный гроб, безлюдный и пустой... Каждый удар волны в его бока родил в нём глухое, гулкое эхо, похожее на тяжёлый вздох. Справа над водой тянулась сырая каменная стена мола, как холодная, тяжёлая змея. Сзади виднелись тоже какие-то чёрные остовы, а спереди, в отверстие между стеной и бортом этого гроба, видно было море, молчаливое, пустынное, с чёрными над ним тучами. Они медленно двигались, огромные, тяжёлые, источая из тьмы ужас и готовые раздавить человека тяжестью своей. Всё было холодно, черно, зловеще. Гавриле стало страшно. Этот страх был хуже страха, навеянного на него Челкашом; он охватил грудь Гаврилы крепким объятием, сжал его в робкий комок и приковал к скамье лодки...

А кругом всё молчало. Ни звука, кроме вздохов моря. Тучи ползли по небу так же медленно и скучно, как и раньше, но их всё больше вздымалось из моря, и можно было, глядя на небо, думать, что и оно тоже море, только море взволнованное и опрокинутое над другим, сонным, покойным и гладким. Тучи походили на волны, ринувшиеся на землю вниз кудрявыми седыми хребтами, и на пропасти, из которых вырваны эти волны ветром, и на зарождавшиеся валы, ещё не покрытые зеленоватой пеной бешенства и гнева.

Гаврила чувствовал себя раздавленным этой мрачной тишиной и красотой и чувствовал, что он хочет видеть скорее хозяина. А если он там останется?.. Время шло медленно, медленнее, чем ползли тучи по небу... И тишина, от времени, становилась всё зловещей... Но вот за стеной мола послышался плеск, шорох и что-то похожее на шёпот. Гавриле показалось, что он сейчас умрёт...

— Эй! Спишь? Держи!.. осторожно!.. – раздался глухой голос Челкаша.

Со стены спускалось что-то кубическое и тяжёлое. Гаврила принял это в лодку.

Спустилось ещё одно такое же. Затем поперёк стены вытянулась длинная фигура Челкаша, откуда-то явились вёсла, к ногам Гаврилы упала его котомка, и тяжело дышавший Челкаш уселся на корме.

Гаврила радостно и робко улыбался, глядя на него.

— Устал? – спросил он.

— Не без того, теля! Ну-ка, гребни добре! Дуй во всю силу!.. Хорошо ты, брат, заработал! Полдела сделали. Теперь только у чертей между глаз проплыть, а там — получай денежки и ступай к своей Машке. Машка-то есть у тебя? Эй, дитяtko?

— Н-нету! – Гаврила старался во всю силу, работая грудью, как мехами, и руками, как стальными пружинами. Вода под лодкой рокотала, и голубая полоса за кормой теперь была шире. Гаврила весь облился потом, но продолжал грести во всю силу. Пережив дважды в эту ночь такой страх, он теперь боялся пережить его в третий раз и желал одного: скорей кончить эту проклятую работу, сойти на землю и бежать от этого человека, пока он в самом деле не убил или не завёл его в тюрьму. Он решил не говорить с ним ни о чём, не противоречить ему, делать всё, что велит, и, если удастся благополучно развязаться с ним, завтра же отслужить молебен Николаю Чудотворцу. Из его груди готова была вылиться страстная молитва. Но он сдерживался, пыхтел, как паровик, и молчал, исподлобья кидая взгляды на Челкаша.

А тот, сухой, длинный, нагнувшийся вперёд и похожий на птицу, готовую лететь куда-то, смотрел во тьму вперёд лодки ястребиными очами и, поводя хищным, горбатым носом, одной рукой цепко держал ручку руля, а другой теребил ус, вздрагивавший от улыбок, которые кривили его тонкие губы. Челкаш был доволен своей удачей, собой и этим парнем, так сильно запуганным им и превратившимся в его раба. Он смотрел, как старался Гаврила, и ему стало жалко, захотелось ободрить его.

— Эй! – усмехаясь, тихо заговорил он. – Что, здорово ты перепугался? а?

— Н-ничего!.. – выдохнул Гаврила и крикнул.

— Да уж теперь ты не очень наваливайся на вёсла-то. Теперь шабаш. Вот ещё только одно бы место пройти... Отдохни-ка...

Гаврила послушно приостановился, вытер рукавом рубахи пот с лица и снова опустил вёсла в воду.

— Ну, гребни тише, чтобы вода не разговаривала. Воротца одни надо миновать. Тише, тише... А то, брат, тут народы серьёзные... Как раз из ружья пошालить могут. Такую шишку на лбу набьют, что и не охнешь. Лодка теперь кралась по воде почти совершенно беззвучно. Только с вёсел капали голубые капли, и когда они падали в море, на месте их падения вспыхивало ненадолго тоже голубое пятнышко. Ночь становилась всё темнее и молчаливей. Теперь небо уже не походило на взволнованное море — тучи расплылись по нём и покрыли его ровным тяжёлым пологом, низко опустившимся над водой и неподвижным. А море стало ещё спокойней, черней, сильнее пахло тёплым, солёным запахом и уж не казалось таким широким, как раньше.

— Эх, кабы дождь пошёл! – прошептал Челкаш. – Так бы мы и проехали, как за занавеской.

Слева и справа от лодки из чёрной воды поднялись какие-то здания — баржи, неподвижные, мрачные и тоже чёрные. На одной из них двигался огонь, кто-то ходил с фонарём. Море, глядя их бока, звучало просительно и глухо, а они отвечали ему эхом, гулким и холодным, точно спорили, не желая уступить ему в чём-то.

— Кордоны!.. – чуть слышно шепнул Челкаш.

С момента, когда он велел Гавриле грести тише, Гаврилу снова охватило острое выжидательное напряжение. Он весь подался вперёд, во тьму, и ему казалось, что он растёт, — кости и жилы вытягивались в нём с тупой болью, голова, заполненная одной мыслью, болела, кожа на спине вздрагивала, а в ноги вонзались маленькие, острые и холодные иглы. Глаза ломало от напряжённого рассматриванья тьмы, из которой — он ждал — вот-вот встанет нечто и гаркнет на них: «Стой, вору!..»

Теперь, когда Челкаш шепнул «кордоны!», Гаврила дрогнул: острая, жгучая мысль прошла сквозь него, прошла и задела по туго натянутым нервам, — он хотел крикнуть, позвать людей на помощь к себе... Он уже открыл рот и привстал немного на лавке,

выпятил грудь, вобрал в неё много воздуха и открыл рот, — но вдруг, поражённый ужасом, ударившим его, как плетью, закрыл глаза и свалился с лавки.

... Впереди лодки, далеко на горизонте, из чёрной воды моря поднялся огромный огненно-голубой меч, поднялся, рассёк тьму ночи, скользнул своим остриём по тучам в небе и лёг на грудь моря широкой, голубой полосой. Он лёг, и в полосу его сияния из мрака выплыли невидимые до той поры суда, чёрные, молчаливые, обвешанные пышной ночной мглой. Казалось, они долго были на дне моря, увлечённые туда могучей силой бури, и вот теперь поднялись оттуда по велению огненного меча, рождённого морем, — поднялись, чтобы посмотреть на небо и на всё, что поверх воды... Их такелаж обнимал собой мачты и казался цепкими водорослями, поднявшимися со дна вместе с этими чёрными гигантами, опутанными их сетью. И он опять поднялся кверху из глубин моря, этот страшный голубой меч, поднялся, сверкая, снова рассёк ночь и снова лёг уже в другом направлении. И там, где он лёг, снова всплыли остовы судов, невидимых до его появления.

Лодка Челкаша остановилась и колебалась на воде, как бы недоумевающая. Гаврила лежал на дне, закрыв лицо руками, а Челкаш толкал его ногой и шипел бешено, но тихо:

— Дурак, это крейсер таможенный... Это фонарь электрический!.. Вставай, дубина! Ведь на нас свет бросят сейчас!.. Погубишь, чёрт, и себя и меня! Ну!..

И, наконец, когда один из ударов каблуком сапога сильнее других опустился на спину Гаврилы, он вскочил, всё ещё боясь открыть глаза, сел на лавку и, ошупью схватив вёсла, двинул лодку.

— Тише! Убью ведь! Ну, тише!.. Эка дурак, чёрт тебя возьми!.. Чего ты испугался? Ну? Харя!.. Фонарь — только и всего. Тише вёслами!.. Кислый чёрт!.. За контрабандой это следят. Нас не заденут — далеко отплыли они. Не бойся, не заденут. Теперь мы... — Челкаш торжественно оглянулся кругом. — Кончено, выплыли!.. Фу-у!.. Н-ну, счастливы ты, дубина стоеросовая!..

Гаврила молчал, грёб и, тяжело дыша, искоса смотрел туда, где всё ещё поднимался и опускался этот огненный меч. Он никак не мог поверить Челкашу, что это только фонарь. Холодное голубое сияние, разрубавшее тьму, заставляя море светиться серебряным блеском, имело в себе нечто необъяснимое, и Гаврила опять впал в гипноз тоскливого страха. Он грёб, как машина, и всё сжимался, точно ожидал удара сверху, и ничего, никакого желания не было уже в нём — он был пуст и бездушен. Волнения этой ночи выглодали наконец из него всё человеческое.

А Челкаш торжествовал. Его привычные к потрясениям нервы уже успокоились. У него сладострастно вздрагивали усы и в глазах разгорался огонёк. Он чувствовал себя великолепно, посвистывал сквозь зубы, глубоко вдыхал влажный воздух моря, оглядывался кругом и добродушно улыбался, когда его глаза останавливались на Гавриле.

Ветер пронёсся и разбудил море, вдруг заигравшее частой зыбью. Тучи сделались как бы тоньше и прозрачней, но всё небо было обложено ими. Несмотря на то, что ветер, хотя ещё легкий, свободно носился над морем, тучи были неподвижны и точно думали какую-то серую, скучную думу.

— Ну ты, брат, очухайся, пора! Ишь тебя как — точно из кожи-то твоей весь дух выдавили, один мешок костей остался! Конiec уж всему. Эй!..

Гавриле всё-таки было приятно слышать человеческий голос, хоть это и говорил Челкаш.

— Я слышу, — тихо сказал он.

— То-го! Мякиш... Ну-ка, садись на руль, а я — на вёсла, устал, поди!

Гаврила машинально переменил место. Когда Челкаш, меняясь с ним местами, взглянул ему в лицо и заметил, что он шатается на дрожащих ногах, ему стало ещё больше жаль парня. Он хлопнул его по плечу.

— Ну, ну, не робь! Заработал зато хорошо. Я те, брат, награжу богато. Четвертной билет хочешь получить? а?

— Мне — ничего не надо. Только на берег бы...

Челкаш махнул рукой, плюнул и принялся грести, далеко назад забрасывая вёсла своими длинными руками.

Море проснулось. Оно играло маленькими волнами, рождая их, украшая бахромой пены, сталкивая друг с другом и разбивая в мелкую пыль. Пена, тая, шипела и вздыхала, — и всё кругом было заполнено музыкальным шумом и плеском. Тьма как бы стала живее.

— Ну, скажи мне, — заговорил Челкаш, — придёшь ты в деревню, женишься, начнёшь землю копать, хлеб сеять, жена детей народит, кормов не будет хватать; ну, будешь ты всю жизнь из кожи лезть... Ну, и что? Много в этом смаку?

— Какой уж смак! — робко и вздрагивая ответил Гаврила.

Кое-где ветер прорывал тучи, и из разрывов смотрели голубые кусочки неба с одной-двумя звёздочками на них. Отражённые играющим морем, эти звёздочки прыгали по волнам, то исчезая, то вновь блестя.

— Правее держи! — сказал Челкаш. — Скоро уж приедем. Н-да!.. Кончили. Работа важная! Вот видишь как?.. Ночь одна — и полтысячи я тяпнул!

— Полтысячи?! — недоверчиво протянул Гаврила, но сейчас же испугался и быстро спросил, толкая ногой тюки в лодке: — А это что же будет за вещь?

— Это — дорогая вещь. Всё-то, коли по цене продать, так и за тысячу хватит. Ну, я не дорожусь... Ловко?

— Н-да-а?.. — вопросительно протянул Гаврила. — Кабы мне так-то вот! — вздохнул он, сразу вспомнив деревню, убогое хозяйство, свою мать и всё то далёкое, родное, ради чего он ходил на работу, ради чего так измучился в эту ночь. Его охватила волна воспоминаний о своей деревеньке, сбегавшей по крутой горе вниз, к речке, скрытой в роще берёз, вётел, рябин, черёмухи... — Эх, важно бы!.. — грустно вздохнул он.

— Н-да!.. Я думаю, ты бы сейчас по чугунке домой... Уж и полюбили бы тебя девки дома, а-ах как!.. Любую бери! Дом бы себе сгрозил — ну, для дома денег, положим, маловато...

— Это верно... для дому нехватка. У нас дорог лес-то.

— Ну что ж? Старый бы поправил. Лошадь как? есть?

— Лошадь? Она и есть, да больно стара, чёрт.

— Ну, значит, лошадь. Ха-арошую лошадь! Корову... Овец... Птицы разной... А?

— Не говори!.. Ох ты, господи! вот уж пожил бы!

— Н-да, брат, житьишко было бы ничего себе... Я тоже понимаю толк в этом деле. Было когда-то своё гнездо... Отец-то был из первых богатеев в селе...

Челкаш грёб медленно. Лодка колыхалась на волнах, шаловливо плескавшихся о её борта, еле двигалась по тёмному морю, а оно играло всё резвей и резвей. Двое людей мечтали, покачиваясь на воде и задумчиво поглядывая вокруг себя. Челкаш начал наводить Гаврилу на мысль о деревне, желая немного ободрить и успокоить его. Сначала он говорил, посмеиваясь себе в усы, но потом, подавая реплики собеседнику и напоминая ему о радостях крестьянской жизни, в которых сам давно разочаровался, забыл о них и вспоминал только теперь, — он постепенно увлёкся и вместо того, чтобы расспрашивать парня о деревне и её делах, незаметно для себя стал сам рассказывать ему:

— Главное в крестьянской жизни — это, брат, свобода! Хозяин ты есть сам себе. У тебя твой дом — грош ему цена — да он твой. У тебя земля своя — и того её горсть — да она твоя! Король ты на своей земле!.. У тебя есть лицо... Ты можешь от всякого требовать уважения к тебе... Так ли? — воодушевлённо закончил Челкаш.

Гаврила глядел на него с любопытством и тоже воодушевлялся. Он во время этого разговора успел уже забыть, с кем имеет дело, и видел пред собой такого же крестьянина, как и сам он, прилепленного навеки к земле потом многих поколений, связанного с ней воспоминаниями детства, самовольно отлучившегося от неё и от забот о ней и понёсшего за эту отлучку должное наказание.

— Это, брат, верно! Ах, как верно! Вот гляди-ка на себя, что ты теперь такое без земли? Землю, брат, как мать, не забудешь надолго.

Челкаш одумался... Он почувствовал это раздражающее жжение в груди, являвшееся всегда, чуть только его самолюбие — самолюбие бесшабашного удалыца — бывало задето кем-либо, и особенно тем, кто не имел цены в его глазах.

— Замолол!.. – сказал он свирепо, – ты, может, думал, что я всё это всерьёз... Держи карман шире!

— Да чудак человек!.. – снова оробел Гаврила. – Разве я про тебя говорю? Чай, таких-то, как ты, — много! Эх, сколько несчастного народу на свете!.. Шатающихся...

— Садись, тюлень, в вёсла! – кратко скомандовал Челкаш, почему-то сдержав в себе целый поток горячей ругани, хлынувшей ему к горлу.

Они опять переменились местами, причём Челкаш, перелезая на корму через тюки, ощутил в себе острое желание дать Гавриле пинка, чтобы он слетел в воду.

Короткий разговор смолк, но теперь даже от молчания Гаврилы на Челкаша веяло деревней... Он вспоминал прошлое, забывая править лодкой, повернутой волнением и плившей куда-то в море. Волны точно понимали, что эта лодка потеряла цель, и, всё выше подбрасывая её, легко играли ею, вспыхивая под вёслами своим ласковым голубым огнём. А перед Челкашом быстро неслись картины прошлого, далёкого прошлого, отделённого от настоящего целой стеной из одиннадцати лет босяцкой жизни. Он успел посмотреть себя ребёнком, свою деревню, свою мать, краснощёкую, пухлую женщину, с добрыми серыми глазами, отца — рыжебородого гиганта с суровым лицом; видел себя женихом и видел жену, черноглазую Анфису, с длинной косой, полную, мягкую, весёлую, снова себя, красавцем, гвардейским солдатом; снова отца, уже седого и согнутого работой, и мать, морщинистую, осевшую к земле; посмотрел и картину встречи его деревней, когда он возвратился со службы; видел, как гордился перед всей деревней отец своим Григорием, усатым, здоровым солдатом, ловким красавцем... Память, этот бич несчастных, оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, подливает капли меда...

Челкаш чувствовал себя овечьим примиряющей, ласковой струёй родного воздуха, донёсшего с собой до его слуха и ласковые слова матери, и солидные речи истового крестьянина-отца, много забытых звуков и много сочного запаха матушки-земли, только что оттаявшей, только что вспаханной и только что покрытой изумрудным шёлком озими... Он чувствовал себя одиноким, вырванным и выброшенным навсегда из того порядка жизни, в котором выработалась та кровь, что течёт в его жилах.

— Эй! а куда же мы едем? – спросил вдруг Гаврила. Челкаш дрогнул и оглянулся тревожным взглядом хищника.

— Ишь чёрт занёс!.. Гребни-ка погуще...

— Задумался? – улыбаясь, спросил Гаврила.

— Устал...

— Так теперь мы, значит, уж не попадёмся с этим? – Гаврила ткнул ногой в тюки.

— Нет... Будь покоен. Сейчас вот сдам и денежки получу... Н-да!

— Пять сотен?

— Не меньше.

— Это, тово, — сумма! Кабы мне, горюну!.. Эх, и сыграл бы я песенку с ними!..

— По крестьянству?

— Никак больше! Сейчас бы...

И Гаврила полетел на крыльях мечты. А Челкаш молчал. Усы у него обвисли, правый бок, захлёстанный волнами, был мокр, глаза ввалились и потеряли блеск. Всё хищное в его фигуре обмякло, стужёванное приниженной задумчивостью, смотревшей даже из складок его грязной рубахи.

Он круто повернул лодку и направил её к чему-то чёрному, высывавшемуся из воды.

Небо снова всё покрылось тучами, и посыпался дождь, мелкий, тёплый, весело звякавший, падая на хребты волн.

— Стой! Тише! – скомандовал Челкаш.

Лодка стукнулась носом о корпус барки.

— Спят, что ли, черти?.. – ворчал Челкаш, цепляясь багром за какие-то верёвки, спускавшиеся с борта. – Трап давай!.. Дождь пошёл ещё, не мог раньше-то! Эй вы, губки!.. Эй!..

— Селкаш это? – раздалось сверху ласковое мурлыканье.

— Ну, спускай трап!

— Калимера, Селкаш!

— Спускай трап, копчёный дьявол! – взревел Челкаш.

— О, сердытый пришёл сегодня... Элоу!

— Лезь, Гаврила! – обратился Челкаш к товарищу. В минуту они были на палубе, где три тёмных бородатых фигуры, оживлённо болтая друг с другом на странном сюсюкающем языке, смотрели за борт в лодку Челкаша. Четвёртый, завёрнутый в длинную хламиду, подошёл к нему и молча пожал ему руку, потом подозрительно оглянул Гаврилу.

— Припаси к утру деньги, – коротко сказал ему Челкаш. – А теперь я спать иду. Гаврила, идём! Есть хочешь?

— Спать бы... – ответил Гаврила и через пять минут храпел, а Челкаш, сидя рядом с ним, примерял себе на ногу чей-то сапог и, задумчиво сплёвывая в сторону, грустно свистел сквозь зубы. Потом он вытянулся рядом с Гаврилой, заложив руки под голову, поводя усами.

Барка тихо покачивалась на игравшей воде, где-то поскрипывало дерево жалобным звуком, дождь мягко сыпался на палубу, и плескались волны о борта... Всё было грустно и звучало, как колыбельная песнь матери, не имеющей надежд на счастье своего сына...

Челкаш, оскалив зубы, приподнял голову, огляделся вокруг и, прошептав что-то, снова улёгся... Раскинув ноги, он стал похож на большие ножницы.

III

Он проснулся первым, тревожно оглянулся вокруг, сразу успокоился и посмотрел на Гаврилу, ещё спавшего. Тот сладко всхрапывал и во сне улыбался чему-то всем своим детским, здоровым, загорелым лицом. Челкаш вздохнул и полез вверх по узкой верёвочной лестнице. В отверстие трюма смотрел свинцовый кусок неба. Было светло, но по-осеннему скучно и серо.

Челкаш вернулся часа через два. Лицо у него было красно, усы лихо закручены кверху. Он был одет в длинные крепкие сапоги, в куртку, в кожаные штаны и походил на охотника. Весь его костюм был потёрт, но крепок, и очень шёл к нему, делая его фигуру шире, скрадывая его костлявость и придавая ему воинственный вид.

— Эй, телёнок, вставай!.. — толкнул он ногой Гаврилу. Тот вскочил и, не узнавая его со сна, испуганно уставился на него мутными глазами. Челкаш захохотал.

— Ишь ты какой!.. – широко улыбнулся наконец Гаврила. – Барином стал!

— У нас это скоро. Ну и пуглив же ты! Сколько раз умирать-то вчера ночью собирался?

— Да ты сам посуди, впервой я на такое дело! Ведь можно было душу загубить на всю жизнь!

— Ну, а ещё раз поехал бы? а?

— Ещё?.. Да ведь это — как тебе сказать? Из-за какой корысти?.. вот что!

— Ну ежели бы две радужных?

— Два ста рублёв, значит? Ничего... Это можно...

— Стой! А как душу-то загубишь?..

— Да ведь, может... и не загубишь! – улыбнулся Гаврила. – Не загубишь, а человеком на всю жизнь сделаешься.

Челкаш весело хохотал.

— Ну, ладно! будет шутки шутить. Едем на берег...

И вот они снова в лодке. Челкаш на руле, Гаврила на вёслах. Над ними небо, серое, ровно затянутое тучами, и лодкой играет мутно-зелёное море, шумно подбрасывая её на волнах, пока ещё мелких, весело бросающих в борта светлые, солёные брызги. Далеко по носу лодки видна жёлтая полоса песчаного берега, а за кормой уходит вдаль море, изрытое стаями волн, убранных пышной белой пеной. Там же, вдали, видно много судов; далеко влево — целый лес мачт и белые груды домов города. Оттуда по морю льётся глухой гул, рокочущий и вместе с плеском волн создающий хорошую, сильную музыку... И на всё наброшена тонкая пелена пепельного тумана, отдаляющего предметы друг от друга...

— Эх, разыграется к вечеру-то добре! – кивнул Челкаш головой на море.

— Буря? – спросил Гаврила, мощно бороздя волны вёслами. Он был уже мокрым с головы до ног от этих брызг, разбрасываемых по морю ветром.

— Эге!.. – подтвердил Челкаш.

Гаврила пытливо посмотрел на него...

— Ну, сколько ж тебе дали? – спросил он наконец, видя, что Челкаш не собирается начать разговор.

— Вот! – сказал Челкаш, протягивая Гавриле что-то, вынутое из кармана.

Гаврила увидал пёстрые бумажки, и всё в его глазах приняло яркие, радужные оттенки.

— Эх!.. А я ведь думал: врал ты мне!.. Это — сколько?

— Пятьсот сорок!

— Л-ловко!.. – прошептал Гаврила, жадными глазами провожая пятьсот сорок, снова спрятанные в карман. – Э-эх-ма!.. Кабы этикие деньги!.. – И он угнетённо вздохнул.

— Гульнём мы с тобой, парнюга! – с восхищением вскрикнул Челкаш. – Эх, хватим... Не думай, я тебе, брат, отделю... Сорок отделю! а? Доволен? Хочешь, сейчас дам?

— Коли не обидно тебе — что же? Я приму!

Гаврила весь трепетал от ожидания, острого, сосавшего ему грудь.

— Ах ты, чёртова кукла! Приму! Прими, брат, пожалуйста! Очень я тебя прошу, прими! Не знаю я, куда мне такую кучу денег девать! Избавь ты меня, прими-ка, на!..

Челкаш протянул Гавриле несколько бумажек. Тот взял их дрожащей рукой, бросил вёсла и стал прятать куда-то за пазуху, жадно сощурился, шумно втягивая в себя воздух, точно пил что-то жгучее. Челкаш с насмешливой улыбкой поглядывал на него. А Гаврила уже снова схватил вёсла и грёб нервно, торопливо, точно пугаясь чего-то и опустив глаза вниз. У него вздрагивали плечи и уши.

— А жаден ты!.. Нехорошо... Впрочем, что же?.. Крестьянин... – задумчиво сказал Челкаш.

— Да ведь с деньгами-то что можно сделать!.. – воскликнул Гаврила, вдруг весь вспыхивая страстным возбуждением. И он отрывисто, торопясь, точно догоняя свои мысли и с лёту хватая слова, заговорил о жизни в деревне с деньгами и без денег. Почёт, довольство, веселье!..

Челкаш слушал его внимательно, с серьёзным лицом и с глазами, сощуренными какой-то думой. По временам он улыбался довольной улыбкой.

— Приехали! – прервал он речь Гаврилы.

Волна подхватила лодку и ловко ткнула её в песок.

— Ну, брат, теперь кончено. Лодку нужно вытащить подальше, чтобы не смыло. Придут за ней. А мы с тобой — прощай!.. Отсюда до города вёрст восемь. Ты что, опять в город вернёшься? а?

На лице Челкаша сияла добродушно-хитрая улыбка, и весь он имел вид человека, задумавшего нечто весьма приятное для себя и неожиданное для Гаврилы. Засунув руку в карман, он шелестел там бумажками.

— Нет... я... не пойду... я... — Гаврила задыхался и давился чем-то.

Челкаш посмотрел на него.

— Что это тебя корчит? — спросил он.

— Так... — Но лицо Гаврилы то краснело, то делалось серым, и он мялся на месте, не то желая броситься на Челкаша, не то разрывааемый иным желанием, исполнить которое ему было трудно.

Челкашу стало не по себе при виде такого возбуждения в этом парне. Он ждал, чем оно разразится.

Гаврила начал как-то странно смеяться смехом, похожим на рыдание. Голова его была опущена, выражения его лица Челкаш не видал, смутно видны были только уши Гаврилы, то красневшие, то бледневшие.

— Ну ты к чёрту! — махнул рукой Челкаш. — Влюбился ты в меня, что ли? Мнётся, как девка!.. Али расставанье со мной тошно? Эй, сосун! Говори, что ты? А то уйду я!..

— Уходишь?! — звонко крикнул Гаврила.

Песчаный и пустынный берег дрогнул от его крика, и намытые волнами моря жёлтые волны песку точно всколыхнулись. Дрогнул и Челкаш. Вдруг Гаврила сорвался с своего места, бросился к ногам Челкаша, обнял их своими руками и дёрнул к себе. Челкаш пошатнулся, грузно сел на песок и, скрипнув зубами, резко взмахнул в воздухе своей длинной рукой, сжатой в кулак. Но он не успел ударить, остановленный стыдливым и просительным шёпотом Гаврилы:

— Голубчик!.. Дай ты мне эти деньги! Дай, Христа ради! Что они тебе?.. Ведь в одну ночь — только в ночь... А мне — года нужны... Дай — молиться за тебя буду! Вечно — в трёх церквах — о спасении души твоей!.. Ведь ты их на ветер... а я бы — в землю! Эх, дай мне их! Что в них тебе?.. Али тебе дорого? Ночь одна — и богат! Сделай доброе дело! Пропаший ведь ты... Нет тебе пути... А я бы — ох! Дай ты их мне!

Челкаш, испуганный, изумлённый и озлобленный, сидел на песке, откинувшись назад и упираясь в него руками, сидел, молчал и страшно таращил глаза на парня, уткнувшегося головой в его колени и шептавшего, задыхаясь, свои мольбы. Он оттолкнул его, наконец, вскочил на ноги и, сунув руку в карман, бросил в Гаврилу бумажки.

— На! Жри... — крикнул он, дрожа от возбуждения, острой жалости и ненависти к этому жадному рабу. И, бросив деньги, он почувствовал себя героем.

— Сам я хотел тебе больше дать. Разжалобился вчера я, вспомнил деревню... Подумал: дай помогу парню. Ждал я, что ты сделаешь, попросишь — нет? А ты... Эх, войлок! Нищий!.. Разве из-за денег можно так истязать себя? Дурак! Жадные черти!.. Себя не помнят... За пятак себя продаёте!..

— Голубчик!.. Спаси Христос тебя! Ведь это теперь у меня что?.. я теперь... богач!.. — визжал Гаврила в восторге, вздрагивая и пряча деньги за пазуху. — Эх ты, милый!.. Вовек не забуду!.. Никогда!.. И жене и детям закажу — молись!

Челкаш слушал его радостные вопли, смотрел на сиявшее, искажённое восторгом жадности лицо и чувствовал, что он — вор, гуляка, оторванный от всего родного — никогда не будет таким жадным, низким, не помнящим себя. Никогда не станет таким!.. И эта мысль и ощущение, наполняя его сознанием своей свободой, удерживали его около Гаврилы на пустынном морском берегу.

— Осчастливил ты меня! — кричал Гаврила и, схватив руку Челкаша, тыкал ею себе в лицо.

Челкаш молчал и по-волчьи скалил зубы. Гаврила всё изливался:

— Ведь я что думал? Едем мы сюда... думаю... хвачу я его — тебя — веслом... рраз!.. денежки — себе, его — в море... тебя-то... а? Кто, мол, его хватится? И найдут, не станут

допытываться — как да кто. Не такой, мол, он человек, чтоб из-за него шум подымать!.. Ненужный на земле! Кому за него встать?

— Дай сюда деньги!.. — рявкнул Челкаш, хватая Гаврилу за горло...

Гаврила рванулся раз, два, — другая рука Челкаша змеей обвилась вокруг него... Треск разрываемой рубахи — и Гаврила лежал на песке, безумно вытаращив глаза, цапаясь пальцами рук за воздух и взмахивая ногами. Челкаш, прямой, сухой, хищный, зло оскалив зубы, смеялся дробным, едким смехом, и его усы нервно прыгали на угловатом, остром лице. Никогда за всю жизнь его не били так больно, и никогда он не был так озлоблен.

— Что, счастлив ты? — сквозь смех спросил он Гаврилу и, повернувшись к нему спиной, пошёл прочь по направлению к городу. Но он не сделал пяти шагов, как Гаврила кошкой изогнулся, вскочил на ноги и, широко размахнувшись в воздухе, бросил в него круглый камень, злобно крикнув:

— Рраз!..

Челкаш крикнул, схватился руками за голову, качнулся вперёд, повернулся к Гавриле и упал лицом в песок. Гаврила замер, глядя на него. Вот он шевельнул ногой, попробовал поднять голову и вытянулся, вздрогнув, как струна. Тогда Гаврила бросился бежать вдаль, где над туманной степью висела мохнатая чёрная туча и было темно. Волны шуршали, взбегая на песок, сливаясь с него и снова взбегая. Пена шипела, и брызги воды летали по воздуху.

Посыпался дождь. Сначала редкий, он быстро перешёл в плотный, крупный, лившийся с неба тонкими струйками. Они сплетали целую сеть из ниток воды — сеть, сразу закрывшую собой даль степи и даль моря. Гаврила исчез за ней. Долго ничего не было видно, кроме дождя и длинного человека, лежавшего на песке у моря. Но вот из дождя снова появился бегущий Гаврила, он летел птицей; подбежав к Челкашу, упал перед ним и стал ворочать его на земле. Его рука окунулась в тёплую красную слизь... Он дрогнул и отшатнулся с безумным, бледным лицом.

— Брат, встань-кось! — шептал он под шум дождя в ухо Челкашу.

Челкаш очнулся и толкнул Гаврилу от себя, хрипло сказав:

— Поди прочь!..

— Брат! Прости!.. дьявол это меня... — дрожа, шептал Гаврила, целуя руку Челкаша.

— Иди... Ступай... — хрипел тот.

— Сними грех с души!.. Родной! Прости!..

— Про... уйди ты!.. уйди к дьяволу! — вдруг крикнул Челкаш и сел на песке. Лицо у него было бледное, злое, глаза мутны и закрывались, точно он сильно хотел спать. — Чего тебе ещё? Сделал своё дело... иди! Пошёл! — И он хотел толкнуть убитого горем Гаврилу ногой, но не смог и снова свалился бы, если бы Гаврила не удержал его, обняв за плечи. Лицо Челкаша было теперь в уровень с лицом Гаврилы. Оба были бледны и страшны.

— Тьфу! — плюнул Челкаш в широко открытые глаза своего работника.

Тот смиренно вытерся рукавом и прошептал:

— Что хошь делай... Не отвечу словом. Прости для Христа!

— Гнус!.. И блудить-то не умеешь!.. — презрительно крикнул Челкаш, сорвал из-под своей куртки рубаху и молча, изредка поскрипывая зубами, стал обвязывать себе голову. — Деньги взял? — сквозь зубы процедил он.

— Не брал я их, брат! Не надо мне!.. беда от них!..

Челкаш сунул руку в карман своей куртки, вытащил пачку денег, одну радужную бумажку положил обратно в карман, а все остальные кинул Гавриле.

— Возьми и ступай!

— Не возьму, брат... Не могу! Прости!

— Бери, говорю!.. — взревел Челкаш, страшно вращая глазами.

— Прости!.. Тогда возьму... – робко сказал Гаврила и пал в ноги Челкаша на сырой песок, щедро поливаемый дождём.

— Врёшь, возьмёшь, гнус! – уверенно сказал Челкаш, и, с усилием подняв его голову за волосы, он сунул ему деньги в лицо.

— Бери! бери! Не даром работал! Бери, не бойсь! Не стыдись, что человека чуть не убил! За таких людей, как я, никто не взыщет. Ещё спасибо скажут, как узнают. На, бери!

Гаврила видел, что Челкаш смеётся, и ему стало легче. Он крепко сжал деньги в руке.

— Брат! а простишь меня? Не хошь? а? – слезливо спросил он.

— Родимой!.. – в тон ему ответил Челкаш, подымаясь на ноги и покачиваясь. – За что? Не за что! Сегодня ты меня, завтра я тебя...

— Эх, брат, брат!.. – скорбно вздохнул Гаврила, качая головой.

Челкаш стоял перед ним и странно улыбался, а тряпка на его голове, понемногу краснея, становилась похожей на турецкую феску.

Дождь лил, как из ведра. Море глухо роптало, волны бились о берег бешено и гневно.

Два человека помолчали.

— Ну прощай! – насмешливо сказал Челкаш, пускаясь в путь.

Он шатался, у него дрожали ноги, и он так странно держал голову, точно боялся потерять её.

— Прости, брат!.. – ещё раз попросил Гаврила.

— Ничего! – холодно ответил Челкаш, пускаясь в путь.

Он пошёл, пошатываясь и всё поддерживая голову ладонью левой руки, а правой тихо дёргая свой бурый ус.

Гаврила смотрел ему вслед до поры, пока он не исчез в дожде, всё гуще лившем из туч тонкими, бесконечными струйками и окутывавшем степь непроницаемой стального цвета мглой.

Потом Гаврила снял свой мокрый картуз, перекрестился, посмотрел на деньги, зажатые в ладони, свободно и глубоко вздохнул, спрятал их за пазуху и широкими, твёрдыми шагами пошёл берегом в сторону, противоположную той, где скрылся Челкаш.

Море выло, швыряло большие, тяжёлые волны на прибрежный песок, разбивая их в брызги и пену. Дождь ретиво сёк воду и землю... ветер ревел... Всё кругом наполнялось воем, рёвом, гулом... За дождём не видно было ни моря, ни неба.

Скоро дождь и брызги волн смыли красное пятно на том месте, где лежал Челкаш, смыли следы Челкаша и следы молодого парня на прибрежном песке... И на пустынном берегу моря не осталось ничего в воспоминание о маленькой драме, разыгравшейся между двумя людьми.